ISSN 0130-1616

6.1996

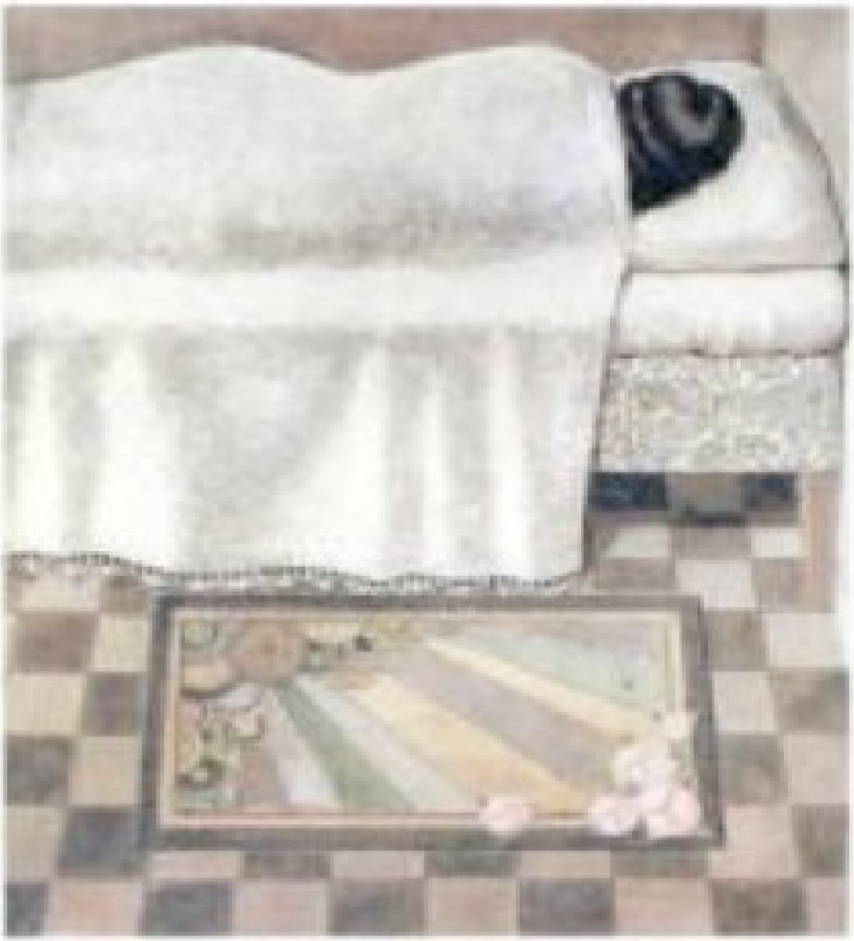
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

СЛАВОМИР МРОЖЕК
Пьесы

САМЮЭЛЬ БЕККЕТ
Полное движение. Крах

ШЕЙМАС ХИНИ
День поэзии



SHOUT
SHARE
IT

- Петер Хандке
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

Петер Хандке
Опыт познания усталости
эссе

Имя Петера Хандке хорошо известно не только в его родной Австрии (где он родился в 1942 году, в бедной семье, и провел годы своей молодости), но и в других странах, где говорят и читают по-немецки. Его литературные успехи были отмечены множеством премий, в том числе самой престижной в ФРГ премией имени Георга Бюхнера (1973), присуждаемой Академией языка и литературы в Дармштадте (городе, близ которого родился Бюхнер), а также премиями имени Франца Кафки (1979) и австрийского классика Грильпарцера (1990).

Начав с бунтарских пьес, провоцирующих аудиторию дерзкими высказываниями («Поругание публики», 1966), Хандке впоследствии стал известен по преимуществу как прозаик. Он обладает даром пластического видения мира, тягой к «зондированию» душевных глубин личности и постоянно ищет новых, непривычных средств выражения. Хандке создает новый прозаический жанр: такие его произведения, как «Шершни», «Несчастье без желаний», «Повторение», представляют собой цепь ассоциаций и эпизодов со слабо выраженным сюжетом. В его прозе явно преобладают воспоминания детства и юности, сочувствие социально обездоленным (повесть «Несчастье без желаний» подсказана трагической судьбой матери Хандке); в его творчестве постоянно возникают модные на Западе темы расколотого сознания или преступления, совершенного в состоянии транса. Знаменитым немецким режиссером Вимом Вендерсом поставлены по произведениям Хандке фильмы «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1972) и «Небо над Берлином» (1987).

«Опыт познания усталости», как и многие произведения Хандке, лишен сквозного действия. Он интересен тем, что непосредственно вводит нас в писательскую лабораторию. Искушенный читатель, несомненно, обратит внимание на признание автора: «и это мирное течение происходящего вокруг уже само по себе было повествованием, и оно… само выстроилось в моих усталых глазах в подлинный эпос». В самом деле, автор как бы предлагает нам нерасчлененный, слитный поток фактов. Наделенный обостренным ощущением ценности каждой минуты, каждого впечатления, Хандке спешит все это сразу же

зафиксировать. Мы невольно вовлекаемся в эту причудливую вязь образов, и, может быть, сами начинаем вспоминать что-то свое. Такая непосредственность, свойственная Хандке, вероятно, является реакцией на интеллектуальную прозу Томаса Манна или Роберта Музиля. При этом у Хандке неизбежно возникает известная фрагментарность и дробность письма, которая затрудняет чтение (вот почему утверждения немецкого поэта и критика Михаэля Бузельмейера, сравнивающего Хандке с великими эпиками прошлого, австрийцем Штифтером или швейцарцем Готфридом Келлером, скорее всего, являются явным преувеличением). И все же достоинства прозы Хандке — зоркость и наблюдательность писателя, его тяготение в реальному миру — явно ощутимы для сколько-нибудь чуткого читателя. У Хандке — не сразу, а подспудно — улавливается и некое демократическое начало, будь то в воспоминаниях детства, ярко запечатлевших картины сурового крестьянского труда, обмолота хлебов в первые послевоенные годы, будь то в воспоминаниях полуголодных студенческих лет, когда будущий писатель, чтобы заработать на учебу, вынужден был трудиться посменно в отделе упаковки большого универмага.

Ассоциативная проза Хандке трудна для перевода; опытная переводчица Галина Косарик, на наш взгляд, успешно справилась с этими трудностями.

Г. РАТГАУЗ

* * *

Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς
προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς
τοὺς μαθητὰς εὗρεν
κοιμωμένους αὐτοὺς
ἀπὸ τῆς λύπης

Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали…

Евангелие от Луки, 22, 45

Раньше я знавал разную усталость перед надвигающимся

страхом.

Когда раньше?

В детстве, в так называемые годы учебы и еще в периоды ранней влюбленности — тогда особенно. Однажды ребенком во время рождественской мессы я сидел среди своих родных и близких в нашей битком набитой деревенской церкви с ослепительно сияющим огнями алтарем, наполненной такими знакомыми радостно-звонкими мелодиями рождественских песен, окруженный запахами взмокшего грубого сукна и воска, и тут вдруг на меня тяжестью навалилась усталость, принеся страдания.

Какие страдания?

Ну, как болезни называют ужасными или коварными, так и эта усталость вылилась в ужасное и коварное страдание, выражавшееся в том, что оно искажало все вокруг меня, обращая церковных прихожан в тесно прижатых друг к другу зеленых войлочных кукол, алтарь в его рождественском убранстве с празднично мигающими огнями в туманной дали — в место страшных пыток и мук, сопровождаемых суматошным ритуалом и бормотанием обреченных на это действо исполнителей, а самого меня, смертельно уставшего от всего, — в какого-то урода с набухшей кожей и головой слона, чудовищно тяжелой, и с сухими до боли глазами; вырванный обморочной усталостью из материального внешнего мира, в данном случае зимы, снежного воздуха, безлюдья, как бывает при езде на санях ночью, под звездами, пока другие дети постепенно расходятся по домам, а мы мчимся все дальше, за околицу, в одиночестве, в полном восторге: вот где совершенство, *тут*, в тишине, со свистом ветра в ушах, в синеве обледенелого пути; тянет холодом — говорили обычно про такую зимне-холодную благодать. Но там, в церкви, совершенно иное восприятие холода у того, кто зажат в тиски усталостью, словно «железной девой»[1], и тогда он, ребенок, то есть я, начинает проситься во время мессы домой, что первонаперво означало просто «прочь отсюда!» и отравляло его близким и без того все реже случавшуюся — из-за ослабевающих общинных традиций — радость общения с другими жителями округи (опять снова-здорово).

Почему ты обвиняешь себя (опять снова-здорово)?

Потому что тогдашняя усталость уже сама по себе была связана с чувством вины, даже усиливалась из-за него, перерастая в острую боль. Опять ты — снова-здорово — не смог перенести, не выдержал общего сборища: еще один стальной обруч на голову, еще одно обескровливание и обессиливание сердца; даже спустя десятилетия возвращается, повторяясь, тот ударяющий в голову стыд из-за внезапной усталости; странно лишь, что близкие потом за многое упрекали меня, но только не за это…

А с усталостью в годы учебы было так же?

Нет. Не было больше чувства вины. Усталость в аудиториях делала меня в эти бесконечно длящиеся часы, наоборот, даже строптивым и резким. И причиной тому был, как правило, не столько спертый воздух и скученность студентов, сколько безучастность читающих лекции к материалу, который должен был быть для них своим. Никогда в жизни не доводилось мне больше видеть таких безразличных к своему делу людей, как те профессора и доценты университета; любой, да-да, любой служащий банка, пересчитывающий вовсе даже не *свои* банкноты, дорожные рабочие, заливающие улицы асфальтом, казались в своем аду между солнцем сверху и обжигающим гудроном снизу куда душевнее. Словно набитые опилками сановные вельможи, монотонные голоса которых ни разу не выказали эмоционального отношения к тому, о чем они говорили, — ни удивления (хорошего преподавателя своему же собственному предмету), ни восторга, ни заинтересованности, ни сомнения в сказанном, ни почтения или гнева, ни возмущения, ни растерянности от собственного незнания, — нет, напротив, они только неустанно бубнили, каркали, скандировали гекзаметр, — правда, не грудным голосом Гомера, а тоном, предвосхищавшим экзамен и лишь иногда отражавшим потуги жалкого остроумия и язвительных намеков, понятных посвященным, а за окном в это время зеленело, голубело и становилось темно, пока усталость слушателя не переходила в неудовольствие, а неудовольствие — в недоброжелательность. И опять как в детстве: «Прочь отсюда! Прочь от всех вас, вместе взятых!» Только куда? Домой, как раньше? Однако в снимаемой мною каморке можно было опасаться теперь, в годы учения, другой, совершенно иной и неведомой в родительском доме усталости: усталости в чужой комнате, где-то на окраине города, где ты один, — усталости одиночества.

А что в ней такого страшного? Разве не стояла возле стола и

стула еще и кровать в комнате?

О том, чтоб просто лечь спать, и речи быть не могло: первоначально такая усталость выливалась в оцепенение; казалось, что нет сил даже мизинцем шевельнуть или моргнуть; чудилось, что и дыхание вот-вот прервется, так что возникало чувство, будто ты окаменел до самого нутра, будто ты уже не человек, а столп усталости; и если все же удавалось сделать тот шаг до постели, то после краткого, похожего на обморок провала — вновь никакого ощущения сна: при первом же повороте — пробуждение в бессонницу, длящееся чаще всего ночь напролет, потому что усталость в комнате, где ты один, всегда имеет обыкновение объявляться к исходу дня, с наступлением раннего вечера, а с ним и сумерек. О бессоннице другие уже рассказали более чем достаточно: как она под конец даже влияет на то, что мучающийся бессонницей видит мир в ином свете, и его собственная жизнь, при всем нежелании, кажется ему сплошным несчастьем, любое действие — бессмысленным, всякая любовь — смешной. Как лежит этот несчастный без сна до наступления бледно-серого брезжущего рассвета, сулящего ему одно проклятие, ниспосланное ему одному в эту нору, где только он и бессонница, — ему, законченному неудачнику, несчастному, заброшенному не на ту планету человеческому существу… И я побывал в мире страдающих бессонницей (и по-прежнему причислен к ним и все еще пребываю в их мире). Первые голоса птиц, еще когда совсем темно, в преддверии весны: так частенько бывает на Пасху — словно в насмешку резкий издевательский птичий крик прямо над кроватью, стоящей в камере-одиночке, о-пять-е-ще-од-на-ночь-без-сна. Бой церковных часов на колокольнях каждые четверть часа, отчетливо слышен даже самый отдаленный из них — этот провозвестник еще одного убийственного дня. Фырканье и душераздирающее мяуканье двух дерущихся котов в полной неподвижности мира, словно центр нашей Вселенной — в громкости и отчетливости звериных криков. Мнимые похотливые вздохи или вскрикивания женщины, так неожиданно пронзившие стоячий воздух, как если бы внезапно прямо над тяжелой головой лежащего без сна нажали на стартер и тут же взревел неотлаженный мотор серийной машины с конвейера; как если бы внезапно спали все маски взаимных привязанностей и показалась изнанка панического эгоцентризма (вот тут не двое любят друг друга, а опять, как всегда, каждый громко себя самого), обнажая подлость и низменность. Все это эпизодические настроения бессонницы; правда, хронически страдающие ею люди, так, во всяком случае, я понимаю их

рассказы, могли бы определить те ощущения как устойчиво повторяющиеся, складывающиеся в одну сплошную закономерность.

Ну а ты, тот, кто не страдает хронической бессонницей, — ты тоже нацелился на то, чтобы рассказать о мире бессонницы — или все же усталости?

Я пойду естественным путем: через мир бессонницы к миру усталости, или, будет вернее, воспользуемся множественным числом — я хочу рассказать о разных мирах, разных картинах усталости.

Ну вот, например, какой до ужаса страшной была в свое время усталость, причина которой исходила от женщины. Нет, эта усталость ниоткуда не исходила, она протекала как физический процесс раздвоения. И никогда не поражала меня одного, а всегда одновременно и женщину, надвигалась, словно резкая смена погоды, извне, из атмосферы, из воздушного пространства. Вот мы лежим, стоим или сидим, вот только еще, само собой разумеется, вдвоем, и вдруг — в один момент, но уже необратимо — каждый в отдельности. Что всегда было моментом испуга, иногда даже ужаса, как при внезапном падении: «Стой! Нет! Не надо!» Но ничего не помогало; оба уже неудержимо отпали друг от друга, каждый в свою, в высшей степени индивидуальную усталость, не нашу, а мою и твою. Вполне возможно, что словом «усталость» обозначалось в данном случае нечто другое — отсутствие чувства или внезапно возникшая отчужденность, но для гнетущего давления, разлившегося вокруг, она была как раз словом, отвечавшим сути дела. Даже если местом свершения был, например, большой, с кондиционером кинозал, вдруг становилось жарко и тесно. Ряды кресел изгибались. Краски на экране блекли, словно на них плеснули серной кислотой, а то и вовсе обугливались. Стоило случайно коснуться друг друга, как руки вздрагивали, словно от удара током. «Ближе к вечеру такого-то… над кинотеатром «Аполлон»… грянула с ясного неба катастрофическая усталость. Жертвой стала юная пара, только что сидевшая в зале плечо к плечу; их подбросило и катапультировало в разные стороны взрывной волной усталости; и в конце фильма, который, между прочим, назывался *«О любви»,* не удостоив друг друга ни единым словом, ни единым взглядом, они навсегда расстались и пошли в разные стороны». Да, такие разъединяющие усталости могут иногда поразить немотой или лишить способности взглянуть на другого; ну вот не смог я сказать ей: «Я устал из-за тебя» или просто «Устал!» (что,

выкрикнутое одновременно и вместе, возможно, вызволило бы нас из наших мук в одиночку); такие усталости выжигали душу, лишали способности говорить. Мы тогда действительно пребывали в таком состоянии, что могли бы пойти каждый своей дорогой!

Но нет, те усталости были такого рода, что тела двоих, взорванных изнутри и отброшенных друг от друга, не могли не оставаться вместе. Иногда доходило даже до того, что оба, в плену дьявольской усталости, начинали внушать страх.

Страх — кому?

Один — другому. Такой вид усталости, когда невозможно вымолвить ни слова, побуждает к насилию. Порой оно выражалось во взгляде, обезображивавшем другого, и не просто как данного человека, а как *особь другого пола*: некрасивые и смехотворные женские или мужские половые органы; или: ох уж эта извечная женская походка, эти неизбежные мужские позы. Случалось, что насилие вершилось тайком, отыскивая для себя третий объект — как бы случайно прихлопнутая муха, как бы в рассеянности оборванные лепестки цветка. Бывало и так, что боль причинялась самому себе: *она* обгрызала себе в кровь кончики пальцев, *он* совал руку в огонь; ударял себя кулаком по лицу, а она, подобно маленькому ребенку, не имея, однако, его защитных подушечек, бросалась плашмя на землю. Иногда кто-нибудь из этих двоих усталых в самом деле нападал на своего партнера по усталости, врага или врагиню; она хотела побоями убрать его со своего пути; он пытался, заикаясь и выкрикивая слова брани, избавиться от нее. Это насилие, вызванное усталостью двоих, было тем не менее единственным способом выхода из нее; ведь после этого хотя бы удавалось, как правило, разойтись в разные стороны. Или усталость уступала место изнеможению, и становилось возможным вновь глотнуть воздуху и прийти в себя. Тогда один возвращался к другому, и оба с удивлением смотрели друг на друга, еще дрожа всем телом от того, что только что произошло, не будучи в состоянии объять это разумом. Из чего могло родиться желание опять взглянуть на другого, но теперь уже совсем иным, новым взглядом: «Что с нами произошло в кино, на улице, на мосту!» (И голос опять появился, чтобы произнести эти слова, может, невольно вместе, а может, их произнес только молодой человек, обращаясь к девушке, или наоборот). И в таком случае эта роковая усталость, охватившая двух молодых, могла бы даже знаменовать собой преображение: беззаботной влюбленности изначально — в любовь всерьез. Ни

одному из них не пришло бы в голову обвинять другого в том, что́ тот только что сделал; напротив, у них обоих открылись глаза на непременность условия, не подвластного каждому из них в отдельности: быть вместе, обоюдопребывать, становясь мужчиной и женщиной, — условие, которое, к примеру, раньше называли проявлением первородного греха, а сегодня я даже не знаю как. Если этим двоим удалось вырваться из той усталости, то, познав ее, они, как и те, кто вдвоем попали в катастрофу и уцелели, потом всю жизнь, надеюсь, будут всегда держаться вместе и принадлежать друг другу, и та усталость уже никогда не будет им грозить, так я надеюсь. И они станут жить счастливо и в согласии, пока что-то другое, куда менее загадочное, чего не стоит так уж бояться и что не заслуживает такого удивления, как та усталость, не встанет между ними: будни, мелочи жизни, привычки.

А существует ли разводящая людей усталость только в случае мужчины и женщины или, может, между друзьями тоже?

Нет. Каждый раз, когда я чувствовал усталость в обществе друга, это не было катастрофой. Я воспринимал ее как естественный ход вещей. В конце концов мы сошлись лишь на короткое время, и затем каждый из нас опять пойдет своей дорогой, осознавая нашу неизменную дружбу и после этого изнурительного часа. Усталость между друзьями неопасна, а вот между молодыми, чаще всего недолго общавшимися друг с другом парами она, напротив, представляет опасность. В дружбе одно, а в любви все иначе — или как назвать то чувство полного и безостаточного слияния душ и тел? — там с появлением усталости вдруг все ставится на кон. Рушатся чары; в один миг меркнет образ другого; он, она за одну ужасающую секунду утрачивают всё; облик, что был любовью секундой раньше, вдруг становится фата-морганой; с минуты на минуту все может кончиться между двумя людьми, и самое пугающее во всем этом, что, как следствие, все вообще может кончиться для одного из них, ведь можно увидеть и самого себя таким же отвратительным или даже *ничтожным*, как и тот, другой, в ком только что еще так явственно воплощался идеал совместной жизни (душа в душу); так хочется прикончить себя, равно как и проклятую половину, прямо тут же, на месте; даже все предметы вокруг вдруг низводятся до их полной никчемности («каким усталым и изношенным мелькает мимо скорый поезд» — всплывает в памяти стихотворная строка друга). Те усталости пар таили в себе опасность разрастись до разочарованности жизнью, а в ком-то из них даже универсумом — поникшая листва на деревьях,

медленно текущая, словно парализованная, река, поблекшее небо. Но так как подобное случается обычно, когда мужчина и женщина остаются друг с другом наедине, я стал с годами избегать затяжных ситуаций тет-а-тет (что само по себе не было решением или разве лишь трусливым).

А теперь настало время для совсем другого вопроса: может, ты рассказываешь обо всех этих коварных усталостях, которых следует опасаться, лишь из чувства долга — поскольку они подпадают под твою тему — и именно поэтому так, как мне кажется, тяжеловесно, скучно и даже несколько утрируя (ведь в истории об усталости, выродившейся в насилие, все явно преувеличено, если не сказать надумано), как бы вполсердца?

Таившие в себе опасность усталости описаны до сих пор не то чтобы вполсердца, а вовсе без сердца, то бишь без души. (И это не просто игра слов, пренебрегающая из любви к себе сутью дела.) Только я рассматриваю бессердечность рассказчика в данном случае не как свою ошибку. (Не говоря уже о том, что усталость вовсе не тема для меня, а моя проблема — упрек, который я делаю сам себе.) И я хочу и в дальнейшем, при исследовании не столь злостных, а более приятных и даже самых приятных усталостей, подвигнувших меня на этот научный эксперимент, оставаться таким же бессердечным, то есть безучастным: пусть все ограничится тем, что я буду следовать картинам и образам, явившимся мне и вызванным моей проблемой, порой буквально физически погружаясь в них и оплетая их вязью слов, со всеми мыслимыми взлетами и колебаниями чувств, и по возможности проделывая это абсолютно без сердца. Быть в картине (сидя за столом) — с меня уже достаточно такой эмоции. И если мне дозволено для продолжения своих опытов над усталостью пожелать себе еще кое-что в подмогу, то это будут скорее животворные ощущения: солнце и весенний ветер каждым андалусским утром в эти недели марта, здесь, на степных просторах под Линаресом, удержанные на кончике пера, зажатого в пальцах, когда сидишь в четырех стенах ради того, чтобы это чудесное ощущение простора, усиленное волнами аромата ромашки, растущей на куче мусора, перешло бы затем в снизошедшие на меня фразы о *добрых* усталостях и чтобы не ударить перед ними в грязь лицом и сделать их более легкими для восприятия, чем предыдущие. Но мне кажется, я уже и теперь знаю: усталость — тяжелая вещь; проблема усталости, в любой ее разновидности, — тяжелое дело. (В волны цветочного запаха дикорастущей ромашки врывается время от времени и с каждым

утром все сильнее и сильнее разлитое вокруг зловоние падали; только мне хотелось бы предоставить всю работу по очистке, как и прежде, ответственным за нее и жирующим на ней грифам.) Итак, снова утро, подъем, и — в путь, туда, где больше воздуха и света между строками, как того требует дело, однако не будем отрываться от земли, всегда держась поближе к мусору, проглядывающему сквозь желто-белую ромашку, и следуя ритмичности и соразмерности пережитых картин.

Это не совсем правда, что раньше я знал только усталости, таящие в себе страх и опасность. Тогда, в детстве, в конце сороковых — начале пятидесятых, обмолот зерна молотилкой еще был событием. Еще не умели управляться с зерном с помощью машин прямо на полях — чтобы с одного конца заправлять колосья в комбайн, а с другого получать мешки с готовым к помолу зерном, — нет, сначала везли снопы домой, к амбару, и обмолачивали взятой напрокат молотилкой, которая в страдную пору переходила от одного двора к другому. Для полного процесса обмолота зерна нужна была целая цепочка подручных: один сбрасывал со стоящей на дворе телеги, слишком громоздкой и высоко нагруженной, чтобы въехать под навес, снопы, другой подхватывал их и передавал дальше, желательно нужным концом, не где колосья, за них не ухватишь, главному действующему лицу, стоящему внутри, возле грохочущей молотилки, от которой сотрясался весь амбар, и тот, самый первый, переворачивал сноп и бережно вдвигал его колосьями в зубовой барабан; тут же раздавался страшный грохот и шум, после чего сзади выползала пустая солома, образуя огромный ворох, следующий по цепи подручный отгребал и подавал ее деревянными вилами на длинной ручке наверх, к тем, кто завершал цепочку, и чаще всего ими оказывались деревенские ребятишки, орудовавшие на сеновале; они оттаскивали солому в самые дальние углы и забивали ею все свободные закутки, утаптывали ее ногами, и горы ее поднимались и росли все выше и выше, так что под конец помощники оказывались под самой крышей в полных потемках. Все это длилось, пока телега перед открытыми воротами, становясь все легче и освобождаясь, не начинала пропускать свет вовнутрь амбара, опустошившись наконец; и все происходило без единой передышки, быстро, на одном дыхании, каждый был на подхвате у другого, так что любая промашка сразу застопорила бы всю работу или сбила темп. Даже самый крайний в длинной цепи, затиснутый частенько к концу молотьбы в угол и почти уже не имея возможности двигаться среди плотно утрамбованной соломы, мог, если бы молниеносно не нашел вокруг себя в темноте места для беспрерывно подаваемой наверх соломы,

нарушить всю ритмичность процесса, вздумай он, чуть не задохнувшись, покинуть свой пост. Но когда молотьба счастливо заканчивалась, а заглушавшая все вокруг молотилка — ведь ничего не было слышно, если даже кричали друг другу в ухо, — остановлена, какая наступала тишина, не только в амбаре, но на всем белом свете вокруг; что за яркий свет, вовсе он даже не слепит, а так ласково окружает, словно обнимает человека. Пока опускались на землю облака пыли, мы собирались во дворе — с дрожащими коленями, пошатываясь и толкая друг друга, что постепенно переходило в игру на вольном воздухе. Наши ноги и руки были исцарапаны; обломанные стержни колосков застряли в волосах, забились между пальцами рук и ног. Но самое запоминающееся в этой картине — наши ноздри: не просто серые от пыли, а черные, у мужчин, у женщин и у нас, детей. Вот так мы и сидели — в моем воспоминании всегда во дворе на послеполуденном солнце — и наслаждались, разговаривая или молча, общей усталостью, тою, которая уложила одного на лавку во дворе, другого — на оглоблю телеги, третьего — подальше, на траву, где отбеливали обычно белье; поистине эпизодическая картина мира и согласия среди всех собравшихся тут — они же и соседи, они же и разные поколения. Облако общей усталости, витавшее в воздушном пространстве над нами, объединяло нас тогда (пока опять не прибывала телега, с новыми снопами). Таких картин — мы-и-наша-об-щая-усталость — поры моего деревенского детства у меня еще много.

Не несет ли с собой прошлое блаженного очищения и преображения?

Если прошлое было таковым, что оно способно осчастливить очищением и преображением, я принимаю его всей душой и верю в такое Преображение. Я знаю, что то время было святым.

Но не есть ли противопоставление, к которому ты ведешь, — между общинным, ручным трудом и индивидуальным, автоматизированным, — всего лишь частное мнение, и к тому же несправедливое?

Главным для меня в моем рассказе было не противопоставление, а сама картина труда; и если, против моей воли, возникает ощущение противопоставления, это означает, что мне не удалось передать своим рассказом чистоту картины как таковой, и я должен в дальнейшем еще больше, чем до сих пор, остерегаться того, чтобы, описывая одно, не натравливать его молча против другого, то есть не изображать одно за счет

другого, что является признаком манихейства; только одно добро или только одно зло — это и так уже господствует сегодня даже в литературе, которая по природе своей наиболее свободна от разных ярлыков и которой свойственна широта в манере изложения; сейчас я расскажу вам о добрых садовниках, но только чтобы потом непременно поговорить о злых охотниках. Фактом, однако, остается, что об усталости людей ручного труда у меня сохранились в памяти трогательные и дающие материал для повествования картины, а вот об усталости тех, кто обслуживает машины-автоматы (пока еще), — никаких. Тогда, в единой для всех усталости после молотьбы, я вдруг увидел себя сидящим среди тех, кого величают «народ», тот народ, о котором я потом всегда мечтал в моей родной стране Австрии и которого мне там всегда так недоставало. Я говорю не об «усталости целых народов», давящей тяжким грузом прошлого на сознание тех, кто опоздал родиться, а о той идеальной и желанной картине усталости одного определенного маленького народа второй послевоенной республики; чтобы все его группы, сословия, союзы, дипломатический и прочие корпуса, а также соборный капитул вдруг однажды так бы утомились работой, по-настоящему, как когда-то мы, деревенские работяги, сидевшие во дворе, равные друг перед другом в нашей общей усталости, объединенные ею и очищенные от всего наносного. Один мой французский друг, еврей, которому пришлось жить во время немецкой оккупации скрываясь, рассказал мне как-то, весь преобразившись и от этого став еще более убедительным, что после освобождения «над страной неделями стояло сияние»; и примерно так же рисовалась мне картина австрийской усталости от общего праведного дела. Но: преступник, ускользнувший от расплаты, пусть он частенько и кемарит прямо там, где его свалил сон, не знает покоя, вечно мечется, находясь постоянно в бегах, и потом даже много, глубоко и шумно спит, незнаком с усталостью, тем паче с той, которая обязывает; до самого последнего предсмертного хрипа ничто на свете не одарит его усталостью, и это явится окончательным, возможно, даже втайне желанным для него самого наказанием. И вся моя страна нашпигована такими неутомимыми, франтовато-бодрыми людьми, включая и так называемые правящие круги; вместо того чтобы хоть на минутку образовать цепочку усталости из трудовых людей, она дает выдвинуться на авансцену нагловато мельтешащей кучке *беспрерывно* воспроизводящих самих себя преступников и их подручных — совсем не тех, что описаны выше, — отряд стареющих, но не устающих пай-мальчиков и девочек в национальных костюмах, потомков тех, кто отмечен печатью

массовых убийств; и этот отряд уже собрал по всей стране свое потомство таких же извечно смышленых молодчиков, а они изготовились к муштровке отрядов лазутчиков из собственных внуков, так что в этом подлом большинстве никогда не найдется места для остальных меньшинств, готовых собрать воедино то, что так необходимо, — подлинную усталость народа; в этом государстве каждый будет оставаться наедине со своей усталостью до самого конца его исторического века. Страшного суда, в который я когда-то относительно нашего народа действительно на какой-то момент верил — мне необязательно говорить, когда это было, — судя по всему, все же нет; или иначе: приговор такого Суда в пределах австрийских границ силы не имел и никогда, так я думаю после моих непродолжительных надежд, уже не вступит в силу. Страшного суда просто нет. Наш народ, так я рассуждал дальше, самый первый из безнадежно пропащих, неисправимый, на веки веков не способный к покаянию и к тому, чтобы начать новую жизнь в истории человечества.

Ну разве не однозначно, что это всего лишь только мнение?

Это не мнение, а картина, потому что то, что я думал, я одновременно и видел. Мнением, и потому уже неверным, можно назвать лишь упоминание о «народе»; поскольку в той картине мне, собственно, являлся не народ, а черствый, обреченный на неблагоразумность своих лишенных человечности поступков и на бесконечное топтание на месте *отряд неутомимых*. Но само собой разумеется, другие картины тут же говорят об обратном и вновь взывают к справедливости; только они не затрагивают столь глубоко мою душу, а лишь смягчают боль. Мои предки, насколько вообще возможно проследить их линию, были батраками, койшлерами (мелкими безземельными крестьянами), а уж если они владели ремеслом, так непременно плотницким. Плотники же, которых я часто встречал окрест, и были теми, кого я всегда видел вместе, как тот самый народ трудовой усталости. Это было время начала послевоенного строительства, и меня, как старшего из детей, женская половина — мать, бабушка, невестка — часто посылала с бидонами отнести теплый обед на ту или иную новостройку в округе; все наши мужчины, не погибшие на войне, и даже какое-то время шестидесятилетний дедушка работали там вместе с другими плотниками высоко на стропилах. В моих картинах они сидят во время обеда возле своей стройки — опять все те же минуты отдыха — на частично уже обработанных балках или еще только очищенных от коры бревнах. Они сняли головные уборы, и их лбы под прилипшими волосами мерцают, словно

белое молоко, на фоне темных обветренных лиц. Все они кажутся жилистыми, худощавыми, при этом гибкими и изящными; я не могу припомнить ни одного толстопузого плотника. Они едят размеренно и молча, и даже немец, мой отчим, так называемый «помощник плотника» — чужак здесь, в стране, — тоже молчит, хотя обычно берет в деревне верх благодаря своему хорошо подвешенному языку столичного жителя (мир праху его). После этого они еще какое-то время продолжали сидеть, немного усталые, глядя друг на друга, и беседовали, без шуточек и злословия и не ругаясь, никогда не возвышая голоса, про свои семьи, почти исключительно только про них, или о том, как тиха сегодня природа, и никогда — о чем-то третьем; потом они переходили к разговору о распределении работ на вторую половину дня. И хотя среди них был и прораб, у меня такое впечатление, что никто из них не имел права первого голоса, никто не мог ничего предписать другому; их усталость предполагала, что никто среди них никогда не верховодил и не распоряжался. При этом все они были, несмотря на воспаленные веки — особый признак этой усталости, — полны бодрости и живости; каждый из них — воплощенное присутствие духа («На, держи!» — летит по воздуху яблоко. «Поймал!»); одухотворенные личности (все время один и тот же невольный, такой естественный и на разные голоса произносимый зачин рассказов и воспоминаний: «До войны, когда еще была жива мать, мы ходили однажды навестить ее в больнице в Санкт-Фейте и шли потом ночью домой пятьдесят километров по Триксенской долине пешком…»). Краски и контуры тех картин рудиментарного «народа усталости» — это синий цвет рабочих штанов, красные прямые полоски от щелкающего по балкам отвеса, красные и фиолетовые овально-цилиндрической формы плотничьи карандаши, желтый цвет дюймовых линеек, овал пузырька воздуха в ватерпасе. Мокрые от пота волосы на висках просохли и топорщатся в разные стороны; на тирольских шляпах, вновь надетых на головы, никаких значков, за лентами — вместо кисточки из волосков серны — карандаш. Если бы тогда уже существовали транзисторы, то их бы, так я себе представляю, во всяком случае на той стройке, не было. И тем не менее живо ощущение, что от чистоты и света тех мест исходила как бы музыка — тончайшая на слух музыка усталости. Да, и тот миг, я это опять хорошо знаю, — святое время, эпизод святости. Правда, к этому усталому народу — не то что к тем, кто работал на молотилке, — я не принадлежал и только завидовал. А когда позднее, став подростком, мог бы присоединиться к ним, все уже выглядело для меня иначе, чем когда-то в представлении того,

кто мальчишкой носил им еду. Со смертью бабушки, уходом дедушки на пенсию и отказом от сельскохозяйственных работ в доме распалось — и не единственном в деревне — ведение общего большого хозяйства сразу несколькими поколениями, и мои родители построили себе свой собственный дом. При строительстве того дома, когда все в семье, даже самый маленький из детей, должны были как-то участвовать и помогать, меня тоже впрягли будь здоров, и я познал тогда совсем новую для себя усталость. Работу, которая на первых порах заключалась прежде всего в том, чтобы доставлять наверх, в гору нагруженную доверху тачку с тесаным камнем, так называемыми квадрами, к недоступному для грузовика месту стройки по настланным через грязь доскам, я воспринял поначалу не как наше общее дело, а как живодерство и издевательство. Тягостный труд — бесконечно толкать в гору тачку, то и дело застревая, с утра до вечера одно и то же, одно и то же! И это убивало меня, и я не видел ничего вокруг, а только тупо глядел перед собой на серые с острыми краями квадры, на растекающиеся по мосткам серые цементные потоки и в первую очередь на стыки между досками, где мне, как правило, приходилось немного приподнимать тачку или подталкивать, чтобы преодолеть неровность или поворот. Нередко груз опрокидывался, и я вместе с ним. В эти недели я в какой-то мере на собственной шкуре познал, что такое работа на фронте или рабский труд. «Мне пришел конец» — принято говорить в таких случаях в обиходе; да, в конце дня я был конченый человек, у меня были изранены руки, горели пальцы ног, ободранные и стертые набившимся между ними размокшим цементом; я был сломлен, замыкался в себе, забивался в угол (не садясь), был вконец измотан усталостью. Не в силах проглотить кусок, я не дотрагивался до еды и даже не мог говорить. И особым признаком этой усталости было, вероятно, то, что, казалось, отдохнуть просто невозможно. Засыпал я практически прямо на ходу, а просыпался с ранним серым рассветом, незадолго до начала работ, еще более усталым, чем до того, как лег; эта зверская работа как бы лишила меня всего, что является частичкой жизни — ощущения ясного света ранним утром, ветерка на висках, — и, казалось, навечно; словно этому состоянию — быть заживо мертвым — теперь уже никогда не придет конец. Разве не умел я раньше находить быстренько для всяких неприятных дел какую-нибудь отговорку, не прибегал к разным уловкам?! Нет, у меня не было даже сил, чтобы выкрутиться таким испытанным способом, как «мне надо заниматься, надо готовиться к интернату», «я лучше пойду пособираю для вас грибы в лесу»… И не помогали никакие

утешения: пусть дело касалось меня лично — речь шла о нашем доме, — но меня ни разу не отпустила от себя усталость наемного рабочего: усталость в одиночку. (Впрочем, было еще много таких работ, которых чурались те, кто работал сообща, например, рытье колодезных шахт: «Это собачья работа, чертовски трудная!» Удивительно только, что со временем та смертельная усталость отпускала, и что — уступала место той, как у плотников? Нет, она уступала место спортивному азарту и бешеному честолюбию с сопутствующим ему своего рода черным юмором.)

Совсем иным видом испытанной мною усталости была сменная работа во времена учебы, ради заработка. Тогда мы работали с раннего утра — я вставал в четыре часа, чтобы поспеть на первый трамвай, не умывался, писал в каморке в пустую баночку из-под конфитюра, боясь потревожить хозяев, — и до второй половины дня наверху, под крышей, при искусственном свете, в отделе доставки большого универмага, несколько недель перед Рождеством и на Пасху. Я разрывал старые картонные упаковки и вырезал из них огромным, как гильотина, ножом большие прямоугольные вкладыши для новых коробок, которые собирались за стенкой на конвейере (механическая работа, как раньше дома, когда я пилил и колол дрова, и это шло мне даже на пользу, поскольку оставляло голову свободной, здесь, правда, из-за бешеного темпа все же не полностью). Та, новая усталость заявляла о себе, когда после смены мы выходили на улицу и дальше каждый шел своим путем. Вот только тогда внезапно у меня, оставшегося наедине со своей усталостью, очки вдруг оказывались запыленными, и я моргал, ничего не видя вокруг; расстегнутый ворот рубашки — грязным, а знакомая улица выглядела совершенно иначе, чем обычно. Я больше не ощущал себя, как прежде, идущим вместе с другими людьми, которые тоже куда-то шли — в магазины, на вокзал, в кино, в университет. И хотя я бодро шел, четко осознавая свою усталость, не впадая в сонливость и не погружаясь в себя, я все-таки чувствовал, что выключен из общества, и это был леденящий момент; я шел один-одинешенек, как бы во встречном движении по отношению к остальным, все дальше в собственное уединение. В студенческих аудиториях, куда я потом входил во второй половине дня, словно переступая запретный порог, я еще меньше обычного прислушивался к монотонным голосам; все, что там говорилось, предназначалось не для меня — я ведь не был вольнослушателем. И чем дальше, тем день ото дня больше хотелось мне скорее очутиться в тех усталых группках сменных рабочих наверху, под самой крышей; и сейчас, анализируя эту картину, я понимаю, что

уже тогда, очень рано для себя, девятнадцати-двадцатилетним, задолго до того, как серьезно занялся писательским трудом, я перестал ощущать себя студентом среди студентов, и это было малоприятное, скорее боязливое чувство.

А тебе не бросается в глаза, что ты создаешь картины усталости, в слегка романтической манере, только людей сельского ручного труда — твоих плотников и койшлеров, и никогда горожан — ни больших, ни маленьких?

Я ни разу не видел картин, живописующих усталость горожан.

И даже не можешь себе их хотя бы представить?

Нет. Мне кажется, что здоровая усталость — это не про них; они рассматривают ее как признак дурного тона, ну вроде как если бы ходить по городу босиком. И к тому же они не могут явить собой картину усталости, потому что сам род их занятий не таков. В лучшем случае они могут изобразить под конец дня смертельную усталость, как, собственно, любой из нас. И такой же маловероятной кажется мне усталость богача или власть предержащих, за исключением разве что ушедших в мир иной — царя Эдипа или короля Лира. Я не вижу даже усталых рабочих, выходящих после трудового дня из ворот современных полностью автоматизированных заводов и фабрик, а лишь властно, по-господски расправляющих плечи людей, с миной победителя на лице и огромными ладонями великанов-младенцев, которые тут же за углом у ближайшего игрового автомата найдут применение своим навыкам в размеренно-уверенных движениях. (Я знаю, что ты сейчас возразишь: «Тебе бы нужно, прежде чем говорить такое, хорошенько подустать самому, чтобы уметь соблюсти меру». *Но: я должен* быть иногда несправедливым, и мне этого хочется. А кроме того, описывая предыдущие картины, в соответствии с задуманным планом, я довольно здорово устал.) Однако я познал одну усталость, сравнимую с той усталостью сменных рабочих, когда наконец — это был мой единственный шанс — «ушел в писание» и работал ежедневно, месяцами напролет. А потом, когда снова вышел на городские улицы, уже больше не ощущал себя частью уличной толчеи. Но сопутствующее мне в данном случае чувство было совершенно иным: мысль не быть участником рядовых будней больше нисколько не занимала меня; наоборот, при моей чудовищной творческой усталости, близкой к изнеможению, она даже давала мне, можно сказать, блаженное

ощущение: не общество было недоступно для меня, а я был таковым для него и для каждого из них. Какое мне дело до ваших прихотей, гулянок, объятий, вот для меня тут деревья, трава, киноэкран, где Роберт Митчем только для меня пускает в ход свое непостижимое искусство мимики; музыкальный автомат, где Боб Дилан только для меня поет свою «Sad-Eyed Lady of the Lowlands»[2] или Рэй Дэвис свое и мое «I'm Not Like Everybody Else»[3].

Но разве усталостям такого рода не грозит опасность перерасти в высокомерие?

Да. Я ловил себя потом все время на холодном, презирающем людей высокомерии или, что еще хуже, на снисходительном сострадании ко всем добропорядочным профессиям, которые ни за что в жизни не могли дать той королевской усталости, которую давала моя. В те часы, когда я кончал писать, я был неприкасаем, конечно, в моем смысле — сидящим, так сказать, на троне, даже если он стоял в хлеву. «Не тронь меня!», а то закроюсь, как мимоза. А если все же гордого в своей усталости тревожили, он делал вид, что не замечает этого. Усталость как путь к доступности, осуществлению желания, чтоб к тебе прикоснулись и чтоб ты сам мог прикоснуться, я познал значительно позже. Такое случается редко, как великое событие в жизни, и уже давно не случалось со мной, словно это вообще возможно только в определенную эпоху человеческого существования и повторяется потом лишь при чрезвычайных обстоятельствах — война, катастрофа или какая другая большая беда. Те несколько раз, когда я был — какое же слово тут уместнее всего? — «осчастливлен» той усталостью или, может, она «выпала мне на долю», я действительно пережил личную беду и встретил тогда, к своему великому счастью, еще кого-то, кто тоже испытал похожее. И каждый раз этим кем-то оказывалась женщина. Но одной лишь беды все же было мало; необходимо было, чтобы нас связала некая эротическая усталость, как бы подтолкнула друг к другу выношенная печаль. Похоже, есть такое правило, что мужчина и женщина, прежде чем они на долгие часы станут замечательной любовной парой, оба должны проделать длинный, трудный путь и встретиться в каком-то третьем, для них обоих чужом, месте, как можно дальше от того, которое зовется родиной — или домашним очагом, — и перед этим пережить еще вместе опасность или хотя бы продолжительное душевное смятение: в стане врагов, пусть даже и в собственной стране, что тоже возможно. Вот тогда может случиться так, что их усталость в том

обретенном бежавшими от нее пристанище, где наконец-то стало тихо, кинет их обоих, мужчину и женщину, женщину и мужчину — толчок, еще толчок — в объятия друг друга, и с такой естественностью и страстью, которые не сравнимы, так я себе сегодня представляю, ни с каким другим единением, будь то даже любовь; «все равно что поделиться друг с другом хлебом и вином», как выразился один мой друг. Или вот на память мне приходит одна стихотворная строка, что вернее передает испытываемые во взаимной усталости чувства: «…слова любви — и каждое смеялось…», смысл ее совпадает с тем, когда в народе говорят «душа у них поет», даже если гробовое молчание окружает тела обоих; или, если угодно, это вариации того, что говорит в фильме Альфреда Хичкока подвыпившая и виснущая на (еще) пытающемся держать дистанцию очень усталом Кэри Гранте Ингрид Бергман: «Ах, бросьте — усталый мужчина и пьяная женщина, да из них получится отличная пара!»; усталый мужчина и усталая женщина, да из них получится самая прекрасная пара; или когда «с тобой» воспринимается как одно слово, наподобие испанского «contigo»… Или, может, стоит изменить немецкий вариант и сказать вместо «Я устал *с тобой*» — «Я устал *тобой*». После столь редкостных опытов я представляю себе Дон Жуана не соблазнителем, а появляющимся каждый раз и в нужный для уставшей женщины момент усталым, *вечно* усталым героем, в объятия которого падает каждая из них и никогда, впрочем, не убивается по нем потом, когда мистерии эротической усталости счастливо завершаются; потому что то, что было между двумя смертельно уставшими людьми, останется для них свершившимся навечно; их память ничто не будет хранить так долго, как тот счастливый гармоничный случай, и никому из них не надобно повторных встреч, они даже чураются их. Вопрос только: как создает этот Дон Жуан каждый раз для себя новые усталости, так чудесно обращающие его и очередную уставшую в столь обессилевшую и прекрасную пару? Как не одна, не две, а тысяча три[4] незабываемых синхронностей врезаются на всю жизнь в память этих тел мимолетным касанием кожи, обоюдными порывами страсти, искренними, без обмана, без видимой игры, что, может, действительно так — толчок за толчком? Наш брат, во всяком случае, был бы после столь редчайших экстазов усталости надолго потерян для любых проявлений телесной и плотской суеты.

А что осталось бы после такого в твоей памяти?

Только одна возросшая усталость.

А есть ли, на твой взгляд, еще бóльшие усталости, чем только что тобой описанные?

Более десяти лет назад я летел ночным рейсом с Аляски, из Анкориджа, в Нью-Йорк. Это был очень длительный полет, начавшийся далеко за полночь из города в заливе Кука, куда во время прилива входят, громоздясь друг на друга, огромные льдины, чтобы потом, во время отлива, посерев и почернев, помчаться галопом назад в океан, с промежуточной посадкой ранним серым утром, в снежную пургу, в Эдмонтоне (Канада) и потом еще одной, когда, описывая круги в воздухе, мы ждали разрешения на посадку, а затем бесконечно стояли внизу, на посадочной полосе, на слепящем предполуденном солнце в Чикаго, и наконец окончательно приземлились в духоте второй половины дня в Нью-Йорке, но только далеко от города. Очутившись наконец в отеле, я намеревался тотчас же пойти лечь спать, я был словно болен — отгорожен ото всего мира — после ночи без сна, воздуха и возможности нормально двигаться. Но тут я вдруг увидел внизу асфальтированные дорожки в Central Park, широкие и просторные, в солнечных лучах ранней осени, и людям там, как мне подумалось, было хорошо, и я почувствовал, что непременно что-то упущу, оставшись в номере, и меня потянуло к ним на улицу. Я сел на солнышке в кафе на террасе, вблизи непрерывного гула и сплошного бензинного угара, все еще слегка отупевший от перелета, выведенный из внутреннего равновесия и испытывающий некий душевный страх, вызванный проведенной без сна ночью. Но потом, я даже не знаю как, постепенно — или, может, опять толчок за толчком? — стало явью преображенье. Я где-то читал, что впавшие в уныние люди смогли преодолеть свой кризис благодаря тому, что им много ночей не давали спать; набравшая опасную амплитуду колебания «провисшая и качающаяся ось» собственного Я вдруг обрела стабильную устойчивость. Предо мной предстала эта картина, как только моя угнетенность уступила место усталости. В ней было что-то от выздоровления. Разве не говорят «бороться с усталостью»? Внутренний поединок был закончен. Усталость стала отныне мне другом. Я вновь вернулся на землю, в этот мир, и даже находился — не потому ли, что это был Манхэттен? — в самом его центре. Но постепенно к этому стало добавляться кое-что еще, даже многое, и каждый раз одно приятнее другого. До самого вечера я ничего не делал, только сидел и смотрел; было такое ощущение, что мне даже и дышать необязательно. Никаких показушных, для пущей важности, дыхательных упражнений или поз по системе

йогов — да нет, просто сидишь и дышишь под знаком усталости, как бы между делом, и притом абсолютно естественно и потому правильно. Мимо постоянно проходили казавшиеся неслыханно красивыми женщины — такой красоты, что у меня время от времени увлажнялись глаза, — и все они, проходя мимо, тоже замечали меня, обращали на меня внимание. (Удивительно, но прежде всего именно красивые женщины видели этот подернутый усталостью взгляд да еще кое-кто из стариков и детей.) Но ни у кого из нас даже и мысли не возникало, что мы, одна из них и я, могли бы пойти и что-то предпринять сверх этого; мне ничего не нужно было от них, с меня было достаточно, что я мог просто наконец вот так посидеть и посмотреть на них. И это действительно был взгляд доброго зрителя, наблюдавшего за игрою, которая может удаться только в том случае, если ее смотрит хотя бы один зритель. Глядеть для этого усталого уже было родом деятельности, и притом активной, с вмешательством в игру; актеры делались благодаря этому только лучше, еще красивее, к примеру, они уже не спешили скрыться как можно скорее прочь с этих глаз. Долгий взгляд идентифицировал их красоту — давал ей возможность раскрыться. Сидящий и смотрящий, таким образом, был избавлен благодаря усталости, словно по волшебству, от собственного Я, вечно создающего одно беспокойство; все прочие душевные перекосы, дурные привычки, заскоки, придурь и заботы отпали сами собой, ничего больше, кроме разрешающих все проблемы глаз, наконец-то таких же загадочно-бездонных, как у Роберта Митчема. И еще: бескорыстное созерцание активизировалось не только благодаря хорошеньким женщинам, проходившим мимо, — оно затягивало в глубину своего мира все, что жило и двигалось вокруг. Усталость членила, но не дробила, а лишь выделяла, задавала привычной неразберихе ритм, облагораживала формы — все вокруг, насколько хватает глаз, — такой огромный горизонт усталости.

И сцены насилия, стычки, крики — тоже все облагороженные формы на том огромном горизонте?

Я рассказываю здесь об усталости в мирное время, в промежутке между стычками. А в те часы как раз был мир, и в Central Park тоже. И самое удивительное, что моя усталость там, казалось, содействовала этому временному миру тем, что усталый взгляд порой усмирял? смягчал? отдельные поползновения к насилию, ссорам или хотя бы просто акту недружелюбия; он обезоруживал своим особым состраданием, не тем презрительным, как иногда со стороны занятых людей, нет,

своим сочувствием, равным пониманию.

Но что такого особенного было в твоем взгляде? Примечательного в нем?

Я видел, ощутимо и для другого человека тоже, одновременно с ним всё, что имело к нему отношение: дерево, под которым он в данный момент проходил, книгу, которую держал в руке, свет, падавший на него, когда он стоял, даже если это было искусственное освещение витрины магазина; стареющего жиголо *с* его светлым костюмом *и* гвоздикой в руке; приезжего с увесистым багажом; великана с не попадающим в поле зрения ребенком на плечах; себя самого вместе с кружащейся листвой из паркового леса; каждого из нас с небом в головах.

А если вокруг ничего не было?

Тогда моя усталость создавала это «вокруг», и тот, другой, который только что еще блуждал в пустоте, вдруг начинал ощущать с каждой минутой ауру, окружавшую его.

И дальше та усталость делала так, что тысяча не связанных между собой и беспорядочно текущих на моих глазах действий и проявлений жизни вдруг упорядочивалась, принимала форму и выстраивалась в последовательную цепочку событий; все они становились частью меня самого, хорошо пригнанной деталью — удивительно тонкого и хрупкого, легко складывающегося — повествования; и при этом все происходящее само рассказывало о себе, не прибегая к посредничеству слов. Благодаря моей усталости мир обходился без них и только возвеличивался. К этому могу лишь дополнительно набросать вчерне схему четырех способов отношения моего словесного Я к миру: в первом варианте я нем, болезненно выключен из всех процессов; во втором — шум голосов, гул разговоров проникает извне, накладываясь на мой внутренний мир, причем я все еще остаюсь нем, в крайнем случае, оказываюсь способным закричать; в третьем — во мне наконец пробуждается жизнь и пытается невольно, фраза за фразой, начать про себя рассказывать, чаще обращаясь к конкретному лицу — ребенку, друзьям; и, наконец, в четвертом — самое сильное из всего, что я испытал до сих пор и что так надолго запало мне в душу, — это как тогда, в моей яснoокой усталости, когда сам окружающий мир рассказывал про себя, в полном молчании, абсолютно без слов, рассказывал мне, своему седовласому соседу-зрителю, и вон той проплывающей

мимо и покачивающей бедрами роскошной бабенке; и это мирное течение происходящего вокруг уже само по себе было повествованием, и оно, иначе, чем боевые действия или войны, которым требуется сначала воспевший их певец или летописец, расчленилось и само выстроилось в моих усталых глазах в подлинный эпос, к тому же, как меня осенило только сейчас, в абсолютно идеальный; картины мимолетно бегущего мира вошли в пазы — щелк, щелк — одна за другой и приняли единый образ.

В идеальный?

Да, идеальный, потому что там все было по-честному и случались все новые и новые вещи, и ни одной из них не было ни слишком много, ни слишком мало — столько, сколько нужно для эпоса; рассказывающий сам себя мир, как рассказывающая сама себя история человечества, такая, какой она могла бы быть. Утопия? «La utopia no existe», — прочитал я здесь на одном плакате, что в переводе означает: место, которого нет, не существует. Стоит подумать об этом, и всемирная история тут же начнет раскручиваться. Моя тогдашняя утопическая усталость, во всяком случае, породила такое место, по меньшей мере одно. Больше чем когда-либо я испытал там чувство пространства. У меня было такое ощущение, что я, едва прибыв туда, тут же вобрал в себя, в свою усталость, запах местности, словно был здешним старожилом. И на это место нанизывались при похожей усталости последующих лет еще и многие другие. Бросалось в глаза, что чужие при этом часто приветствовали меня, чужого, потому что я казался им знакомым, или делали это просто так. В Эдинбурге, проведя долгие часы перед «Семью таинствами» Пуссена, явившими мне наконец-то крещение, тайную вечерю и все остальное с должным пиететом, я сидел, сияя усталостью, в одном итальянском ресторане, осознанно позволяя — исключение, относящееся все к той же усталости, — обслуживать себя; и все кельнеры сошлись под конец на том, что уже видели меня как-то однажды, причем каждый в другом месте: один — на Санторине (где я никогда не был), другой — прошедшим летом, со спальным мешком, на озере Гарда — ни спальный мешок, ни озеро не соответствовали действительности. В поезде из Цюриха в Биль после ночи, проведенной без сна из-за праздника в честь окончания детьми школы, напротив меня сидела проведшая такую же бессонную ночь молодая женщина, возвращавшаяся с заключительного праздника, велогонок «Тур Швейцарии», где она по поручению замешанного в этом деле банка, в котором она работала, должна была ублажать велогонщиков — вручать им

цветы, раздавать в награду поцелуи в щечку тем, кто поднялся на пьедестал почета… Этот рассказ тек непрерывным потоком из уст уставшей женщины, перескакивая с одного на другое, словно мы давным-давно всё уже знали друг про друга. Один из велогонщиков, победивший подряд на двух этапах, получил свой поцелуйчик снова, но не был в состоянии даже узнать ее, так сильно, рассказывала она со смехом, полная уважения к ним и не испытывая разочарования, увлечены велогонщики только одним спортом. Ну а теперь она вовсе не собирается ложиться на голодный желудок спать, а пойдет со своей подружкой в Биле обедать, у нее волчий аппетит, причем мне вдруг опять открылся повод для того, чтобы познать еще один вид общемировой усталости — испытываемое чувство голода. Усталость сытости не способна породить такое. «Мы были голодные и усталые» — так рассказывает свой сон молодая женщина Нэд Бомон в «Стеклянном ключе» Хэммета: то, что свело этих двоих, подвигло их потом и на дальнейшее, были голод и усталость. Этим особым восприятием такого рода усталости обладают, так мне кажется, наряду с детьми — их бесконечное большеглазое оборачивание, полное ожидания, чтоб посмотреть, кто там сидит, — и такими же уставшими взрослыми еще только идиоты и звери. Один дурачок пару дней назад здесь, в андалусском Линаресе, спотыкаясь заплетающимися ногами и держась с отсутствующим видом за руку своего провожатого, заметил меня сидящим на скамейке с ворохом клочочков бумаги, на которых я что-то записывал и утром, и вечером, сделал такие удивленные глаза, словно увидел одного из своих или, может, кого-то еще даже почуднее. Сияние при виде меня исходило не только из его глаз, но от всего лица этого монголоида; он даже остановился, и пришлось его как следует дернуть, чтобы потащить дальше, великое удовольствие отобразилось на его лице просто оттого, что взгляд его уперся в равного себе и тот, другой, тоже признал его как равного. И это случилось не впервой: кое-где уже бывало так, что идиоты земного шара — европейские, арабские, японские — с детской радостью разыгрывали друг перед другом свои игры, то и дело попадая от усталости в поле зрения идиотов. Когда я, окончив свою работу и проделав долгий путь пешком, проходил чертовски усталый по пустынной фриульской[5] долине краем леса вблизи деревни, носящей имя Медея, то заметил в траве утиную парочку и тут же серну и зайца, лежавших рядом и продемонстрировавших мне, после первых инстинктивных порывов к бегству при моем появлении, размеренность своих движений, а также травоядность — они стали кто пастись, а кто пощипывать травку, переваливаясь с боку на бок на широких

перепончатых лапах. Возле монастыря Поблет в Каталонии мне повстречались на проселочной дороге две собаки, большая и маленькая, вроде как отец и сын, которые потом пошли со мной, то сзади, то обгоняя меня. Я был такой усталый, что даже не испытал обычного страха перед собаками, и кроме того, так я себе представил, из-за долгого хождения пешком я уже пропах запахами этой местности и стал для собак как бы своим. А те тем временем начали играть: «отец» бегал вокруг меня, а «сын» — за ним, шмыгая у меня промеж ног. Да, подумал я, это картина настоящей человеческой усталости, она делает человека открытым, так сказать, пропускным, распахивая дверь в эпос для всех живых существ, как сейчас для этих животных. Здесь, пожалуй, будет уместна следующая вставка: на пустыре под Линаресом, с кучами мусора и ромашками, куда я каждый день хожу гулять, я стал свидетелем совершенно иных игр, имевших место между людьми и животными. Но об этом совсем вкратце, только назывными предложениями: сидящие по одному мужчины, на некотором отдалении, как бы для отдыха в тени развалин или каменных глыб, в действительности же подкарауливающие, на расстоянии выстрела от воткнутых в кучи мусора гибких стальных прутьев с крошечными насаженными на них клетками, без всякой свободы движения для бьющихся в них пернатых и раскачивающих тем самым еще больше те клетки, где маленькие пичужки не что иное, как двигающаяся живая приманка для больших птиц (тень орла, однако, довольно далеко от расставленных ловушек; вот она, скользящая тут по моим разложенным листам в тихой и зловещей эвкалиптовой роще вблизи руин свинцового рудника, моего привычного рабочего места на природе в период резких пронзительных выкриков и фанатичного воя труб на страстную неделю в Испании); или выскакивающие на пустырь с заходом солнца, как полоумные, цыганята из ближайшего поселка, с танцующим вокруг них, высоко прыгающим изящным псом с благородной мордой, потом вдруг рычащим и дрожащим от нетерпения, словно зритель перед предстоящим спектаклем, разыгрываемым одним подростком и заключающимся в выпускании на пустырь зайца и травле его мчащейся за ним собакой, в быстром нагоне ею петляющей жертвы, захвате за холку зубами, для начала как бы играючи, с последующим ослаблением хватки и новым улепетыванием зайца, его еще более быстрой поимкой, отчаянным дрыганием в пасти, мотанием из стороны в сторону взлетевшего в воздух животного, с летящим бегом собаки через саванну с добычей в зубах — протяжный и тянущийся по пустырю визг зайца, — спектакль, заканчивающийся уходом детей назад в поселок, с

собакой, подпрыгивающей вверх, до вытянутой руки предводителя с болтающимся в ней зайцем, схваченным за уши, мокрым от крови, с безжизненными лапами; его все еще немного вздрагивающая маленькая тушка на переднем фланге этих идущих гуськом, против заката солнца, цыганят, а высоко над их головами видимое в профиль личико зайца, в полной его беспомощности и покинутости, возвысившееся, однако, как над собачьим, так и человеческими лицами; или подростки — всего лишь вчера, при моем возвращении после писательских трудов из эвкалиптовой рощи назад в город, — у городской каменной стены вдоль масличной плантации, с оливковыми ветками и камышовыми палками в руках, с криками то подбегающие, то отскакивающие назад, разбрасывающие камни, пинающие ногами, а внизу, теперь уже на открытом солнце, свернувшиеся кольцами толстые и длинные змеи, сначала еще почти недвижимые, только дергающиеся головы да выброшенные языки, еще малоподвижные от зимней спячки, и потом вдруг обрушившиеся на них со всех сторон удары палок, разламывающийся, однако больно бьющий камыш в этой дроби ударов все подбегающих и отбегающих еще почти детей (в памяти и я тут же с ними); наконец, взметнувшаяся змея, высоко поднявшаяся вверх, в полный рост, но одновременно жалкая, утратившая способность напасть, даже не представляющая собой опасности, только грозно поводящая шеей, демонстрируя свои врожденные змеиные повадки, и вот так, выпрямившись, в профиль, с раздавленной головой и струйками крови из пасти, рухнувшая в последний момент под градом камней, став вдруг похожей на зайца и превратившись в третьестепенный персонаж, мелькнувший на мгновение в глубине сцены при поднятии занавеса с привычно намалеванными на нем фигурами людей и животных. Однако откуда во мне такой внутренний протест, такое упорное неприятие этих ужасов, которые ничего не рассказали мне; в крайнем случае лишь подтвердили, что нужно пробовать рассказывать и *дальше*, тогда как то, о чем повествуют *объединяющие* усталости, вызывает во мне естественный подъем творческих сил — писать еще и еще; и почему именно они высвобождают дыхание, так что его может хватить на целый эпос?

Да, но как же ты не видишь, что главным были вовсе не ужасы? Хотя бы потому, как ты, желая только зафиксировать их, пустился против воли в повествование, хотя и избегал упорно глаголов, которые закрепили бы твое участие в событиях прошлого, явно преследуя свой умысел и прибегая для этого к литературному трюку? А что, смакование и живописание ужасов,

помимо всего прочего, еще и более выигрышное занятие, во всяком случае, более наглядное и убедительное, чем перечисление всех остальных столь любвеобильных эпизодов этой твоей эпопеи усталости?

Да я вовсе не хочу никого ни в чем убеждать, никому ничего навязывать. Даже уговаривать не хочу — и картинами тоже, — только напомнить каждому его собственную, самую сильную, рассказывающую о себе усталость. И наглядность этого, и убедительность еще проявятся под конец задуманного нами опыта, возможно, даже сразу — стоит мне только подустать за оставшееся до его окончания время.

Так в чем же тогда, отбрасывая все твои шуточки и хитроумные зарисовки, сам корень, суть самой последней усталости? Как она проявляется? Как тогда надо начать действовать? И оставляет ли она Уставшему шанс, чтобы действовать?

Она уже сама по себе лучшее действие, и с ней ничего не надо ни предпринимать, ни начинать, потому что она по сути своей и есть Начало Действия: «положить начало» — вот как это называется. И это «положить начало» — урок. Усталость учит — она практична. «Учит чему?» — спросишь ты. Раньше в науке о законах мышления существовало такое понятие, как «вещь в себе», а теперь это уже в прошлом, поскольку «объект» не смог проявиться сам по себе, а только в союзе со мной. Усталости же, которые я имею в виду, обновляют для меня это старое представление и делают его очевидным и ощутимым. Больше того, они несут вместе с ощущением одновременно и идею. Больше того, в идее вещи я прикасаюсь, как бы щупаю руками сам постулат: какой эта вещь показывает себя в данный момент, такой она не просто *существует*, таковой она и *должна* быть. И еще больше: в той фундаментальной усталости вещь никогда не проявляется только как «сама по себе», а всегда лишь вкупе с другими вещами, пусть даже если их будет совсем немного, зато под конец все они сойдутся вместе. «Теперь вот еще и собака лает, значит, все тут, и все опять вместе!» И как вывод: такие усталости нельзя брать на себя одного, их надо делить с другими.

С чего это вдруг так много философии?

Да, правда, — может, я все еще недостаточно устал? — в час последней усталости нет места философским вопросам. Это время — одновременно и пространство; это временное

пространство — одновременно и история. То, что существует, то одновременно и *проявляется*, и становится одновременно частью меня. Вот эти двое детей тут, у меня, усталого, на моих усталых глазах, это и есть я сейчас; и то, как старшая сестра тащит через все кафе своего маленького брата, тоже сразу приобретает смысл и имеет ценность; и нет ничего такого, чтобы одно было ценнее другого, — дождь, бодрящий Уставшего, равноценен виду Идущего по ту сторону реки; если одно хорошо, так другое прекрасно, так и должно быть, так должно оставаться и дальше; и, что самое главное, это и есть истина. Как сестра-я-брата-меня-хвать за штаны, и это так, это *истинно*. И все относительное проявляется в усталом взгляде как абсолютное, часть как целое.

А где же наглядность?

Для понятия «все, вместе взятое» у меня есть свой образ, своя картина; это, как правило, голландские натюрморты с цветами семнадцатого столетия, где на цветочках сидят натуральные то жучок, то улитка, то пчелка, а то бабочка; и хотя, вероятнее всего, они не имеют ни малейшего представления о присутствии друг друга, в тот момент, когда *я* лицезрю их, они все вместе.

Не можешь ли ты попытаться стать наглядным и убедительным без этого умозрительно-обходного маневра?

Давай сядь со мной — пожалуй, и ты, так я надеюсь, уже достаточно подустал за это время — вот сюда, на этот каменный бортик по краю дороги, или еще лучше, поскольку еще ближе к земле, опустись со мной рядом на корточки прямо на дорогу, на бегущую посередине зеленую полоску травы. Как там было — одним толчком? — вот и ладно, так и будет; и в этом отблеске красок, глядишь, удастся познать цветастое отражение мира с его призывом «Держаться всем вместе!»; находясь в непосредственной близости к клочку земли, мы одновременно соблюдаем должную дистанцию по отношению к природе и смотрим на выгибающуюся гусеницу, на зарывшегося в песок многочленистого жучка, длинного, как червь, а вместе с ним и на муравья, который трудится над маслиной, и на кусочек бересты, свернувшейся на наших глазах в восьмерку.

Никаких отчетов в виде фрагментарных зарисовок, только эпос!

По пыли этой андалусской сельской дороги несколько дней назад передвигался, так же торжественно и медленно, как

изваяния скорби и печали, которые носят тут в Андалусии на страстной неделе по улицам, трупик крота, под которым, когда я перевернул его, оказывается, шествовала целая цепочка золотисто-лоснящихся жуков-могильщиков; а как-то перед тем, еще в зимние недели, я присел на корточки на такой же полевой дороге, но в Пиренеях, вот точно так же, как мы сидим сейчас, и смотрел, как падает снег крошечными зернистыми снежинками, неотличимыми, когда они уже легли на землю, от светлых песчинок, но оставлявшими потом, растаяв, своеобразные лужицы, такие темные пятнышки, но совсем иные, чем от капель дождя, гораздо более широкие, неравномерно расположенные, очень медленно впитывающиеся в пыль; а когда-то ребенком, находясь примерно на том же расстоянии от земли, как сейчас мы, когда сидим на корточках, я шел точно по такой же австрийской полевой дороге ранним серым утром с дедушкой, босиком, равно близко к земле и космически далеко от разрозненных кратеров в пыли, образовавшихся от упавших капель летнего дождя, — моя первая, вечно заново повторяющаяся картина познания мира.

Наконец-то в твоих притчах о проявлении усталости не одни лишь масштабы преуменьшенных ценностей вещей, но и человеческая мера! Но почему все время в образе Уставшего только ты, один ты?

Мои самые большие усталости всегда казались мне одновременно и общечеловеческими. В Дутовле на Карсте поздней ночью у стойки бара вспоминали прошлое старики мужчины, и я тоже был вместе с ними на войне. Усталость проецирует на человека, о котором мне ничего не известно, историю его жизни. Эти двое там, с зачесанными назад мокрыми волосами, худыми лицами, потрескавшимися ногтями, в чистеньких рубашках, — сельские рабочие, labradores, которые целый день ишачили где-то в глуши и проделали сюда, в городской бар, долгий путь пешком, в отличие от остальных, стоящих тут же; а вон тот, что в одиночестве проглатывает свою пищу, — чужой здесь, прибыл на заработки в Линарес, на монтажные работы на завод «лэндроверов», и оторван теперь от дома, от семьи; или тот старик, которого я вижу каждодневно за городом, на краю оливковых плантаций: у ног его маленькая собачка, он стоит, упершись локтями в развилину дерева, и печалится о своей умершей жене. Идеально Усталому «будут фантазии», правда, чуть иные, чем, скажем, спящим из Библии или «Одиссеи», которым было видение без всяких сновидений;

ему откроется то, что есть наяву. И вот я, если еще и не усталый, то достаточно нахальный, настроен теперь на то, чтобы рассказать мои фантазии, которые «были мне» на самой последней ступеньке моей усталости. На той последней ступеньке сидел усталый Бог, усталый и бессильный, но в своей усталости — на малую толику — еще чуть более усталый, чем любой из смертных, Вездесущий, со взглядом, который, будучи увиденным во временной протяженности мировой истории, дошел бы до сознания увидевших его, был бы признан и принят ими и явил бы тогда собою некую власть.

Хватит о ступеньках! Поговори же наконец о витающей в твоем воображении усталости просто так, как Бог на душу положит, как это случается в суматохе и сумятице жизни.

Спасибо! Именно такая суматоха и сумятица и есть сейчас моя жизнь и мои проблемы. Итак, хвалебная песнь в духе Пиндара [6], ода — но не Победителю, а Уставшему! Я, например, могу себе представить поклоняющихся Троице пятидесятников, только что принявших Духа, смертельно усталыми людьми. Усталость меньше всего вдохновляет на то, чтобы что-то тут же предпринять, скорее призывает оставить все как есть: ангел, коснувшийся рук спящего и видящего сон-откровение Царя, тогда как остальные «цари» спят в это время беспробудно и без всяких сновидений дальше. *Здоровая* усталость — она уже сама по себе отдохновение. Иной Усталый подобен Орфею, окруженному сворой диких хищных зверей, которые в конце концов тоже почувствуют себя усталыми и усмирятся. Усталость задает одиночкам тон. Так, Филип Марлоу — еще один частный детектив — проявлял себя в решении сложных дел тем лучше и проницательнее, чем больше бессонных для него ночей нанизывались одна на другую. А усталый Одиссей добился любви царевны Навсикаи. Усталость омолаживает, она делает молодым как никогда. Усталость — это нечто большее, чем собственное маленькое Я. Все становится таким удивительным в ее, усталости, покое; ах, сколь чудесен тот рулон бумаги, который несет под мышкой на удивление спокойный человек вон там, по удивительно тихой calle Cervantes[7]! А теперь картины высшего проявления усталости: тогда, в Пасхальную ночь, во время праздника Воскресения Христова, деревенские старики лежали в церкви, распластавшись на животе, перед гробом, в парчовых багряницах вместо синих рабочих комбинезонов, с загорелыми загривками, иссеченными трудовыми морщинами, как межами промеж полосок земли; умирающая бабушка, в ее тихой

усталости от жизни, умиротворившая весь дом и даже своего неукротимого во гневе мужа; и все вечера здесь, в Линаресе, я наблюдаю, как каждый раз устают бесчисленные малолетние детишки, которых взрослые приводят с собой в бар; уже нет больше жажды любопытства, уже их ручонки больше ничего не хватают, лишь только вяло шевелятся пальчики. И нужно ли в придачу к этому еще говорить о том, что даже в таких глубоких картинах усталости запоминается только одно — разлучение?

Ну ладно, пусть так, в известной наглядности и убедительности твоей проблеме отказать нельзя (хотя все это остается лепетом, типичным для мистиков). Но как можно вызвать животворную усталость? Искусственно лишать себя сна? Предпринимать дальние перелеты с континента на континент? Мощные маршевые броски? Прибегнуть к геркулесовой работе? Взять и немножко на пробу умереть? Есть ли у тебя рецепт для твоей утопии? Обуздание праздной веселости целого народа в форме таблеток? Или в виде порошка, добавляемого в питьевую родниковую воду на водозаборных станциях в стране Незнающих Усталости?

У меня нет рецепта и для себя самого тоже. Я знаю только: такую усталость нельзя спланировать; она не может стать заранее объявленной целью. Но я знаю еще, что она никогда не придет просто так, без причины, а всегда лишь через трудности, в переходный момент, в преодолении их. И давай теперь встанем и уйдем отсюда, выйдем на улицы, смешаемся с людьми и посмотрим: а вдруг нам на этом временном перепутье улыбнется где-нибудь хоть маленькая, но общая усталость — и что она тогда расскажет нам сегодня?

А что, чтобы по-настоящему устать или суметь правильно сформулировать вопрос, нужно обязательно встать, а не продолжать сидеть на месте? Как та скрюченная старушка в парке для праздногуляющих, вечно понукаемая своим уже тоже седовласым и тоже загнанным сыном, которая сказала: «Ах, давай еще *посидим*!»

Да, давай посидим. Но не здесь, где нет людей, а лишь шелест эвкалиптов, не в этом одиночестве, а где-нибудь в шуме бульваров и авенид; посмотрим на других и, может, даже насладимся самым заурядным музыкальным автоматом, если вдруг окажемся в радиусе его слышимости.

Но во всей Испании невозможно найти ни одного такого музыкального автомата.

Здесь, в Линаресе, есть один, и очень странный.

Расскажи.

Нет. Как-нибудь в другой раз, в эссе «О музыкальных автоматах»[8]. И такое может случиться.

Но перед нашим выходом к людям — еще только одну, последнюю картину усталости!

Хорошо. Это будет одновременно и моей последней картиной человечества: примиренного в свой самый последний, отпущенный ему миг в единой космической усталости.

Приложение.

Те маленькие клетки с птичками, расставленные в саванне, вовсе не предназначались для того, чтобы служить приманкой для орлов. Один человек, сидевший на некотором отдалении от такого места, ответил на мой вопрос так: он выносит птичек за город, на этот пустырь, к мусору, чтобы послушать на «пленэре» их *пение*; и масличные ветки, воткнутые возле клеток в землю, опять же вовсе не для того, чтобы приманивать с неба орлов, а чтобы заставить пичуг *петь*.

Второе приложение.

Или, может, пичуги все-таки прыгают ради орла, парящего высоко в небе, которого люди хотят для разнообразия увидеть в *его стремительном падении вниз*?

Линарес, Андалусия, март 1989 г.

notes

Примечания

1

Орудие казни в виде полой человеческой фигуры с ножами внутри, куда помещали осужденного. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

2

«Женщина с низких долин с грустными глазами» (*англ.)*.

3

«Я не такой, как все» (*англ.)*.

4

Имеется в виду «Ария со списком» из оперы Моцарта «Дон Жуан».

5

Фриули — историческая область Италии.

6

Пиндар (ок. 518–442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

7

Улица Сервантеса *(исп.)*

8

Эссе «О музыкальных автоматах» было написано П. Хандке в 1990 г.